

М и л а Б о р н

ДВА РАССКАЗА

МУСОРНЫЙ ВЕТЕР

От Киевского вокзала сразу поехал по адресу. Отмахал полови-ну кольцевой, вышел из метро где-то в районе старых московских улиц, сверился с бумажкой. Помнил, помнил он еще этот город, но совсем уже плохо. Все-таки сколько лет прошло. На третьем перекрестке запутался, стал вылавливать из пустоты полуденной улицы прохожих. Остановился мальчик, рукой показал, что нужно идти прямо, потом дважды завернуть, и нужный адрес отыщется.

Так он и сделал. Адресом оказался старый, с двумя каштанами, двор, закрытый со всех четырех сторон. В него, как в муравейник, вела огромная, на два этажа арка, перегороженная металлическим забором, сваренным кустарно. Чтобы его преодолеть, надо было нажать на кнопку. Он нажал. Почти сразу ответил молодой женский голос. Он, прокашлявшись, крикнул в решетчатый динамик:

— Я от Вити.

Повисла неловкая пауза.

— От кого?

Он повторил. Голос, помешкав, ответил:

— Ладно. Заходите.

Металлическая дверь щелкнула, открылась. Он вошел. Следом прошмыгнул какой-то сухонький дед с соломенной сумкой, из которой выглядывала голова капустного кочана. Посторонившись, он пропустил деда. Потом и сам пошел к единственному подъезду.

Квартира была на пятом этаже. Обогнув по спирали старый фанерный лифт, он остановился возле мокрого коврика и позвонил в дверь. Послышались легкие, шуршащие по полу шаги. Ключ заерзал в замке. И в дверном проеме показалась хрупкая, невысокого роста девушка — с прямой, как у школьницы, челкой, в коротком и легкомысленном шелковом халате. На груди шелк вызывающе топорщился двумя острыми клювами. Он смутился.

— Простите...

Протянул, как доказательство, бумажку с записанным адресом.
— Вера — это вы? Тут все правильно?

Она с удивлением посмотрела на бумажку, потом на него и осторожно кивнула. Загородившись, скрестила руки на груди.

— Так вы, правда, от него?

— Правда.

Она переступила с ноги на ногу. Беспомощно повертела головой. Прислушалась к звукам в подъезде. Заговорила быстро и нервно:

— Ну и как?

— Что — как?

— Как он там вообще?

В ответ он пожал плечами. Тоже оглянулся, осмотрел лестничную площадку. Вроде никого не было.

— А можно я к вам зайду?

Она секунду помедлила. Бросила на него недоверчивый взгляд, но тут же спохватилась:

— Зайдите. Чего уж.

И отступила вбок, словно сдавая какие-то невидимые позиции.

Он шагнул в квартиру, прикрыл за собой дверь. В темноте прихочей снял с плеча надоевший рюкзак, стал его расстегивать. Вера, не расцепляя рук на груди, с подозрением следила за ним. Он присел на корточки, вывалил из рюкзака и стал складывать на пол какую-то одежду, термос, небрежно скомканный дождевик и, наконец, небольшую, размером с ладонь, сильно потертую коробку — то ли контейнер для еды, то ли какой-то медицинский бикс для стерилизации шприцов. На мгновение задержал в руках, а потом решительно протянул Вере.

Она стрельнула глазами из-под прямой челки, коротко улыбнулась и с любопытством вытянула вперед свою голую шею.

— От него?

— Да, — сказал он, не сводя с нее взгляда.

Она протянула руку и взяла коробку. Слегка потрясла. Снова уставилась вопросительно на гостя. Он поднялся и, как будто припоминая что-то важное, похлопал себя по нагрудным карманам, вытащил вдвое сложенный запечатанный конверт. Она опять улыбнулась.

— Тоже мне?

— Вам.

Взяла конверт. Замешкалась: вскрыть сейчас или потом. Он ее понял.

— Да вы потом можете прочитать.

Она затараторила снова:

— Так вы скажете? Ну хотя бы в общем. Как он там? Все ведь у него хорошо?

Он кивнул на письмо.

— Да там все написано.

Она пожала плечами, не понимая, почему не клеится разговор.

— Ну, пожалуй, все, — шумно выдохнул он. — Я свое дело сделал.

— Дело?

Она напряглась, поднялась на цыпочки, как будто собираясь что-то еще ему сказать. Но тут настойчиво затренькал дверной звонок. Они цепко переглянулись.

— Что, открыть?

Вера кивнула и суетливо отложила на обувную полку и принесенную коробку, и конверт. Он послушно потянул на себя дверь, открыл и увидел стоящего на пороге высокого бородача в гавайке. Обе его руки были заняты сетками с арбузами. Мельком взглянул на гостя, потом на Веру, по-хозяйски шагнул в прихожую и протянул ей обе сетки. Заторопил.

— Давай, Верунчик, давай, они уже поднимаются!

Она как-то по-детски взвизгнула:

— Ой, а я же в халате еще!

— Ну так беги, одевайся!

Бородач снова посмотрел на непрошеного гостя, слегка потеснил его, стаскивая с себя кроссовки.

— А я, представляешь, Вер, их всех на лифте опередил.

Он негромко хохотнул и затопал вглубь квартиры. Вера, перехватив у него обе сетки, побежала следом.

Оставшись один, гость вышел. Захлопнул за собой дверь. Постоял в подъезде. Посмотрел вниз через лестничные пролеты. По винтовой лестнице двигалась гудящая, перекаत्याющаяся хохотом толпа. Он посторонился, пропуская их всех. Медленно начал спускаться.

Во дворе было гулко от детских голосов, дребезжания чьей-то посуды, звонящего телефона. Он сел на скамейку, откинулся назад и раскинул руки в разные стороны. Запрокинул голову, по-

пробовал угадать, где находятся Верины окна. И вдруг услышал, как откуда-то сверху затрещала, заухала музыка. Кто-то перева-лился через перила балкона, высунулся во двор, но его тут же ута-щили. И снова — музыка, хохот. Он посидел, будто размышляя о чем-то трудном. Потом резко встал и пошел обратно в подъезд. Рванул на себя дверь. Побежал вверх по лестнице. И уже там, на пятом этаже, остановился перед мокрым ковриком. Вдавил дро-жащей рукой кнопку дверного звонка. Прислушался, сдерживая дыхание. Там снова послышались шаги, но на этот раз другие. Щелкнул замок. Дверь открылась. На пороге стоял удивленный его возвращением бородач. В руке он держал большой кусок све-жеразрезанного, сочного арбуза. Гость, отодвинув его в темно-ту прихожей, сделал несколько решительных шагов в квартиру, схватил с обувной полки и конверт, и коробку, торопливо запихал все это в свой рюкзак и вышел.

Второй адрес был ему знаком. Правда, ехать туда пришлось сна-чала по вытянувшейся, как кишка, ветке метро, потом дожидаться автобуса от Выхино. Пятиэтажные шлакоблоки какой-то неведомой силой держались еще посреди пустыря, который — было уже очевидно — готовили под строительство. Сада с дикими яблоками и вишнями, который когда-то окружал заводские дома, уже не существовало. От скамеек возле подъездов остались только намертво врытые бетонные столбы и урны-пингвины. Он вошел в дом, и его сразу обдало запахом помоев, курева и кошачьей мочи. Перехватыв-ая на ходу шаткие, высохшие перила, он поднялся на третий этаж, неуверенно потоптался, сомневаясь еще в своей памяти, постоял на площадке между четырьмя замызганными дверьми и шагнул к самой дальней с номером 23. Сунул руку в рюкзак, проверил, на месте ли коробка и письмо. На месте. Позвонил в дверь. Тишина. Помешкал. Повторил. Может, звонок не работает? Поднял руку, сжал в кулак и вежливо постучал. Ответа не было. Подождал еще. Постучал сильнее. Опять тишина. Тогда решил постучать ногой. Хлипкую, фанерную дверь затрясло. Из глубины квартиры, разбу-женный, истошно заверещал грудной ребенок. Кто-то побежал из комнаты в комнату. Женщина горестно выдохнула:

— Господи! Да кто ж там опять?

И через минуту перед ним вырос здоровенный мужик в трусах.

— Тебе чего тут?

— Я от Вити.

Мужик сплюнул прямо ему под ноги.

— Тьфу, б..! Из оперы «Вас не ждали».

Гость нервно потер щеку. Начал заново.

— Елена Ивановна ведь тут проживает?

Мужик выпятил губу, смерил гостя тяжелым взглядом.

— А ты ей кто? Конь в пальто?

Гость торопливо замотал головой.

— Нет-нет, я же сказал, что от Вити!

Из глубины квартиры снова послышался женский голос — уже не такой отчаянный, как вначале, а более тихий. Наверное, успокоила ребенка.

— Гена, кто там, свои?

Гена отмахнулся крепкой, волосатой рукой. Снова уперся взглядом в гостя.

— Да слышал. Я не глухой. Только никакого Вити нам тут не надо. Понял?

— Что, простите?

— А чего мне тебя прощать? — Мужик начал заводиться. — Я тебя знать не знаю. И Витю твоего знать не хочу!

— Но ведь вы же Гена? Кажется, брат?

Гена раздул ноздри, перешагнул дверной проем и толкнул гостя круглым, мясистым животом.

— И что с того? Брат, не брат. Тебе-то что? Все, вагончик уехал, тью-тью. И ты катись следом. Понял?

Гость подвигал скулами, но промолчал. Подождал, пока Гена слышит. Тот отошел.

— А уроду этому скажи: пока он таскался черт знает где, я за матерью говно выносил. И похоронил ее тоже я.

— Похоронили? — не удержавшись, переспросил гость.

Гена сделал паузу, преодолевая неприязнь к собеседнику. В квартире опять заверещал грудной ребенок.

— Скажи этому говнюку: срок вступления в наследство прошел. Все, тью-тью. Квартира теперь моя. И только моя. Понял?

Тут из-за ноги Гены выскочила маленькая девочка с бледными кудельками на затылке, в трусиках и растянутой, старой маечке. Она с любопытством посмотрела на гостя и почему-то заплакала.

— Папа, папа...

Гена отступил, ухватил девочку, как котенка, и с размаху хлопнул дверь. Зазвенели подъездные окна. Из квартиры напротив выглянула осторожная, прелая старушка. Осмотрелась. Прошамкала:

— А вы не из жилконторы будете? Я вас с прошлой субботы дожидаюсь. А сегодня уже среда...

Он развернулся и побежал по лестнице вниз. Остановился у железного ряда почтовых ящиков, отдышался, успокоился. Потом вынул из рюкзака запечатанный конверт, взвесил его на ладони, еще немного подумал и бросил в ящик с номером 23.

На Павелецком вокзале было не так суетно и не так кучно, как на Киевском. Доехав зачем-то до него, он купил в привокзальном киоске квас в пластиковой бутылке и холодный чебурек. Горячих уже не продавали, потому что было совсем поздно, и хозяин уже раза три хотел киоск закрывать. Присел в зале ожидания, торопливо прожевал чебурек. В метро больше не пускали. Только такси. Но и на такси — куда ехать? Куда он мог еще ехать в этом городе?

Примостившись поближе к батарее, он подложил под бок свой рюкзак и решил немного вздремнуть. Но вокзал все не мог угомониться, все не спал. И тогда он подумал: может, вокзалы вообще никогда не спят, потому что бесконечен их труд — перевозить людей из одного места в другое, из другого в третье. И в чем только смысл этих перемещений? В чем разница между пунктами А и Б, сидели на трубе, А упало, Б пропало. Черт знает что. Все-таки он так вымотался за этот день в Москве. Хотя и не только за этот, а вообще. Так устал, так надорвался, что не хотелось больше вообще никуда, ни к кому. Вот только доделать дело и купить билет. А билет куда? Куда? Да кто его знает? Никуда, в неизвестном направлении. Уехать неизвестно куда. Не в пункт А и не в пункт Б. А куда-то, где нет ничего вообще. Ничего и никого. А там мало-помалу все забыть. И, бог даст, не спиться и не сойти с ума от всего этого. Остаться собой.

Что-то мягкое, теплое навалилось на него, укутало и стало дышать прямо в лицо. Он наконец согрелся и куда-то поплыл. А куда? Далеко-далеко. По большой воде. На красивой лодке. Не один. Он увидел лицо друга, улыбающееся, умытое. На нем тоже не было ни следа усталости, ни следа печали. Они оба, налегая на большие, скрипучие весла, загребали тяжелую, переливающуюся от солнца

воду. И было им так спокойно, так хорошо. Больше никуда не нужно было бежать, ничего не нужно было делать.

Его разбудил внезапный грохот железной тележки, груженной чемоданами, которую толкал перед собой маленький, узкоплечий узбек. Под потолком Павелецкого парил утренний туман. Гурчали просыпающиеся голуби. Шли первые люди из метро. Пахло креозотом, дизельным выхлопом, кофе и общественным туалетом. Два увечных — оба без ног — обживались на своем рабочем месте: обкладывались картонками, чтобы не дуло, разливали по стаканчикам из бутылки. Между их колясками лежала — одна на двоих — широкополая афганка.

Он поднялся, допил из бутылки квас и спустился на эскалаторе к кассам. Почти не задумываясь, купил два билета — туда и обратно. Времени оставалось в обрез. Вышел на перрон. В электричке было совсем пусто. Пригороды утром ломались совсем в другую сторону — на работу. По вагонам носились запахи яблок, абрикосов, поздней вишни, выращенной на продажу в Москву. Он блаженно вытянул ноги и, подставляя волосы залетному ветерку, прикрыл глаза. Езды было часа на полтора. Поэтому добраться у него получалось еще до обеда.

Он вышел на платформу, над которой было крупно написано: Белые Столбы. Перебрался через огромный железнодорожный мост и двинулся в сторону дачного поселка. Шел и не торопился. Все смотрел, смотрел. Здесь почти ничего не изменилось. Казалось, даже деревья и кусты росли в том же месте, что и когда-то прежде. Разве только вместо заброшенной военчасти выстроили какую-то больницу с высоким забором. Он вышел к пруду. Посидел на берегу. Полюбовался на неброскую церковь-новодел. Потом спустился в низину, отыскал ворота лодочной станции, где написано было краской: «Посторонним вход воспрещен». Постучал.

Кроме собаки, к нему не вышел никто. Однако пес так надрылся, что, в конце концов, вынудил притащиться к воротам зашпанную, помятую сторожиху.

— Непустишь, бабушка? Покататься.

Сторожиха по-боевому уперла руки в бока.

— Рехнулся ты, что ли?

— Да я ненадолго.

Она покрутила указательным пальцем у виска.

— Из больницы сбежал? Не видишь? Сезон закрыли. В следующем году теперь приходи.

Он уцепился за ворота.

— Бабушка, а вы меня разве не помните?

Сторожиха прищурилась, напряглась.

— Знаешь, сколько таких, как ты, тут за лето приходит? Прямо глаза рябит. А ты хочешь, чтобы я помнила? — Она покачала головой. — Иди отсюда! А то я не посмотрю на тебя, собаку спущу!

Он подтянулся на воротах повыше.

— А не помните, мы у вас тут бывали? Часто. Плавать приходили, карасей ловить.

Сторожиха смягчилась, но продолжала говорить через забор.

— А чего ж ты теперь один явился?

Он помолчал. Посмотрел на бабку.

— А другие в этот раз не смогли. В следующий раз обязательно приедут.

Она махнула рукой. Но не ушла. Поковыляла к забору, отодвинула на воротах скрипучий засов.

— Ладно, вижу, приспичило тебе сильно. Только хорошую лодку я тебе не дам. Они все уже — вон, на просушке.

Она спустилась к воде и отвязала от короткой гнилой швартовки цепь пластмассового катамарана.

— Такое пойдет?

Он кивнул и тоже стал спускаться к воде. Неуверенно балансируя, ступил ногами на побитую посудину, добрался до середины и, улыбаясь, уселся на место. Сторожиха со знанием дела забросила цепь на катамаран и оттолкнула его от берега.

— Только недолго мне. Понял?

— Как обещал.

Он приладил обеими ногами на скобы педалей. Неловко, со второго раза развернулся в нужном направлении и сильно, сосредоточенно двинулся вперед. Берег удалялся быстро. Посудина была легкая, игрушечная. Поэтому несла его с необычайной простотой. И когда пристань стало уже почти не видеть, он остановился, откинулся на спинку кресла, закинул руки за голову и закрыл глаза.

Было тихо. Было необыкновенно тихо. Так, как он не слышал давно. Все-все здесь казалось неизменным. словно время не двигалось вообще. Он подумал: наверное, где-то под ним все так же,

как и раньше, плавают серебристые караси, поблескивают боками на солнце, все так же прячутся в мягком прохладном иле лягушки, ужи. И все это, наверное, неиссякаемо, вечно. Не так, как во всем остальном мире. Он глубоко вздохнул и открыл глаза. Вода, вроде бы неподвижная, сонная, осторожно бежала, огибая борта его катамарана. Он наклонился и опустил руку в воду, которая была еще теплой, ласковой, летней, золотилась на солнце и струилась через его пальцы. Живая, живая вода. И вдруг он вспомнил такое же теплое, утекающее через его пальцы, густое, вонючее, темно-красное. Вспомнил, как прижимал пальцы к шее своего друга, а он уже хрипел, и теплое из него все толкалось и толкалось наружу, вытекая и впитываясь в землю. От страха он кричал, не зная еще такого о себе. Другие тоже кричали. Они бежали над ним, стреляли и падали, падали и хрипели.

Он поднялся, снял со спины рюкзак и вытащил оттуда коробку. Снова сел, отщелкнул боковые замки, открутил крышку и, наклонившись низко-низко над самой водой, осторожно вытряхнул ее содержимое.

НАВОДНЕНИЕ

Весь день вторника исходил духотой и истомой, иссушал уставшую траву, плыл зыбким маревом над грунтовой дорогой, которая была единственной и вела от деревни до станции поездов. В такой зной не было на ней никого. Но люди, собиравшие в поле стога, все равно вглядывались, передыхая, опираясь на грабли и загораживая лица руками от солнца. Зато где-то в самом конце поля тяжелое небо, наливавшееся свинцовым студнем, прижималось все ниже и ниже к земле, как будто, уставшее до предела, хотело на эту землю лечь, но никак не могло приспособиться.

Вечером подул порывистый, клочковатый ветер, разметал всю работу, сделанную накануне людьми, и погнал их домой, забираясь под широкие рубахи и юбки.

К ночи совсем помутилось. Ветер лез через дверные щели домов, куда попрятались люди, трепал хлипкие калитки и раскачивал колодезный журавель. Поэтому в деревне долго не могли улечься, тревожно всматривались в темноту, на дорогу, по которой приносило закруженные головы перекасти-поле и, перегоняя их через единственную деревенскую улицу, закидывало за воротник леса. В конце концов, когда уснули последние, высоко в небе что-то с диким грохотом прорвалось, разломалось и обрушилось на крыши домов небывалой для этих мест водой.

На утро среды, когда надо было снова идти в поле и поправлять разметанное вчера, поток дождя не прекратился. Как оторвавшийся с привязи, он хлестал и хлестал, перекатываясь волнами с одной стороны улицы на другую. Домашние птицы кудахтали и гоготали. Коровы, которых не выпустили в поля, грустно мычали и трясли мокрыми, удивленными мордами. Дорога на станцию стремительно превращалась в глинистую кашу. И почтальон, который ехал на велосипеде в деревню, забуксовал, увяз, растянулся в жиже и, насили подобрав с земли отяжелевшую от воды сумку с письмами, повернул обратно на станцию. Поток мутного селя разрастался, медленно подходил к избам и грязными, булькающими языками пробирался в дверные щели.

В этом смятении деревенские прожили и среду, и четверг. Обезумевшая вода поднималась все выше и выше, плескаясь уже у по-

доконников. И те, кто стоял на холмах и пригорках, еще терпели, не захлебывались. А дома, которые были в низине, уже хватало воздух уходящими под воду оконными рамами. Люди, не знавшие здесь такой напасти, лезли на крыши вместе с вещами и домашним зверьем. И сидели там, обхватив печные трубы и тревожно всматриваясь вдаль, где уже не видно было ни полей с брошенной на середине работой, ни дороги на станцию. Никто был не в состоянии объяснить, почему случилась такая напасть и за что им такое.

Наконец, в пятницу утром прилетел спасательный вертолет. Стал назойливо, как мясная муха, кружить над взбесившейся стихией. Голос из громкоговорителя хрипел и призывал всех затопленных сохранять спокойствие и дожидаться спасательных лодок. С собой разрешалось брать только самое нужное. Но чем было самое нужное, никто точно не знал. Поэтому и метались туда-сюда, и тащили за собой все без разбора.

У Параскевы из самого нужного была только корова — черная, с большим белым пятном на голове. Но как ее взять с собой, Параскева не понимала. Предыдущие два дня, пока вода стремительно поднималась, корова металась в своем загоне и трубно звала. Параскеве было боязно за скотину. И она отвязала ее. А наутро корова уплыла. Как и куда, старуха не знала — не уследила из-за своего собственного горя.

— Хлеб наш насущный дай нам днесь... насущный наш... хлеб насущный... дай нам хлеб...

Она запнулась, повторила последнюю фразу еще раз. Нет, ну надо же, позабыла. Дальше позабыла. Она замолчала, пошевелила растерянно губами. Подняла голову в свежевыстиранном, туго повязанном платке и уперлась в лик, сурово смотревший на нее со стены.

Фотография мужа была старая, еще довоенная. Иван сделал карточку специально для сельсовета — как лучший тракторист. Лицо его получилось суровое, почти грозное: с тяжелыми, свежевыбритыми скулами, сжатыми губами и густыми, кустистыми бровями, нависавшими неровными дугами над небольшими, но цепкими глазами, хотя в тот день — Параскева помнила — муж ее был в хорошем расположении духа и не пылил. Потом уже, когда с фронта вернулся — половинкою, без ног, — сельсовет карточку с Доски почета снял и ему отдал. Но Параскева зла не держала.

Понимала, что муж теперь у нее — раненый, рваный, растерзанный войной. У других, вон, вообще домой не вернулись. А ее, хоть и ополовиненный, но живой.

При нем многое еще оставалось. Мог и головой работать, и руками. А глазами своими, внимательными, цепкими, смотрел строго, сурово, будто вырезал в душе какую-то особую правду. Другие так не смотрели. А этот как будто прожигал в ней глубокий след. Может, поэтому и пошла она за него замуж. Сильный, большой человек. Куда больше ее самой. Жалела только, что не успела наесться она своим женским счастьем. До войны бог детей им не дал. А уж после — какой с половинчатого спрос. Да и сама она, пока ходила в солдатках, расплескала, израсходовала свою судьбу.

В зиму сорок второго, когда фронт перекатился через их деревню и ушел далеко на восток, к ним на постой пришли немцы. Было их много, и в домах размещались по пять-шесть человек. Стояли и у Параскевы. Оголодавшие, обношенные, они выгребали все съестное, вскрывали амбары и подполы. Бабы, обезумевшие от страха, ходили на реку и ловили рыбу. Река за деревней была широкая и шумная. Рыбы в ней летом водилось видимо-невидимо. А зимой реку сковывал лед до полуметра. Не подобраться к воде. И потому бабы по ночам кололи ломami проруби, а днем рыбачили — до оконченения, до потери сознания. Но все зря. Рыбы подо льдом не было. Однажды Параскева, вернувшись домой, так и повалилась в дверях — то ли от слабости, то ли от того, что промерзла до костей. Немцы, стоявшие в ее доме, загоготали, зашпыхали. А потом, разобравшись, что пришла она без улова, стали раздраженно кричать. Один, здоровенный, подошел к ней, гортанно заорал, подбирая насилиу русские слова:

— Вставай, вставай, матка, есть давай!

А потом пнул от отчаяния Параскеву в живот сапогом. Тело ее было замороженное, одежда заледенелой. Поэтому она не сразу почувствовала свою боль. Но когда до сознания дошло, когда перехватило дыхание, Параскеву свело, словно ударило током. Посмотрела она безумно, поднялась, подступила к немцу и, замахнувшись отчаянно, ударила его прямо по лицу. Находившиеся в доме замерли. Никто из деревенских не оказывал им сопротивления. А тут — нате вам! Какая-то баба. Немец заметался, схватился за автомат.

— Des is jetzt dei End. I schieß di Tod!¹

Параскева отступила, загородила лицо рукой. Почуяла, словно зверь: это конец. Но только услышала:

— Halt, Walter, mach des ned!²

Увидела, как к здоровенному сзади подскочил белокурый немец, нагнул вниз направленный на нее автомат и стал кричать что есть силы:

— Die is net verrickt. Die is tapfer und verzweifelt. Du musch den Mut beim Feind reschbeggdiern, Walter!³

Из всего этого Параскева ни слова не поняла. Со всей силы прижалась к стене, чтобы не видели, как ее крутит, как сотрясает страх перед подступившей так близко смертью. Она зажмурила глаза.

— Господи наш, Иисусе! Спаси нас и сохрани! Дай нам днесь, отче! Отче!

Получалось, что белокурый ее спас. Здоровенного повели потом к офицеру. Тот стал разбираться. И, в конце концов, отправил его на постой в другой дом. А вот белокурый остался. И был до самой весны, пока вконец оголодавшие немцы не ушли из деревни, перегубив немало и людей, и домов. А вот Параскеву не тронули. И дом ее. И сарай. Все это так и осталось стоять до самой Победы, пока не вернулся Иван. Потом уже, после войны, когда Параскева, заливаясь слезами, пересказывала мужу, как пережила эту лютую зиму, она не сумела открыть ему, на что толкнул ее этот животный страх, на что она так безмолвно пошла, лишь бы не удавили, лишь бы не сбросили, как других, в речные проруби. Да и как это было ему открыть? Как бы понял он, который каждый день смотрел в лицо смерти? Да и как после этого признания можно было остаться жить?

Впрочем, жила ли она потом? Уцелела ли после зимы сорок второго?

Параскева сама не знала. Не знала, в какой момент умерла. То ли тогда, когда в деревню вернулись советские, а встречать их было некому — из двухсот деревенских осталось человек десять. То ли когда таила от этих оставшихся свое предательски наливавше-

¹ Des is jetzt dei End. I schieß di Tod! ((нем.) – Ну все, я тебя убью!

² Halt, Walter, mach des ned! (нем.) – Нет, Вальтер! Остановись!

³ Die is net verrickt. Die is tapfer. Du musch den Mut beim Feind reschbeggdiern, Walter! (нем.) – Она не сумасшедшая. Она смелая. Мужество врагов тоже нужно уважать, Вальтер!

еся чрево? То ли когда отмороженными, заиндедевшими пальцами опускала шевелящийся, плачущий сверток в ледяную, черную воду проруби? Она понимала, что больше не живет. Поэтому вернувшийся на землю мир и вернувшегося своего мужа не приняла так, как это положено у живых, а замерла в своем ужасе перед случившимся с нею.

А правда о ее тяжелой зиме все равно ракрылась. Такое не утаишь. Кто-то из деревенских рассказал Ивану и про белокурого, и про утопленного младенца. Он, сначала катавшийся по земле, выдиравший яростно из нее цветущие травы и сжимавший их в побелевших кулаках, мало-помалу стих, словно примирился. И, отволочив свое искалеченное, половинчатое тело домой, ничего не стал говорить Параскеве, утаил, утаил взаимно, оставил в себе одном эту убийственную боль. А наутро, отыскав в сарае, уцелевшем за всю годину, старую, довоенную флягу с бутанолом, которую берег еще трактористом, опрокинул остатки жидкости себе в рот.

Параскева выходила мужа. Хотя доктор, приезжавший со станции, говорил, что шансов выжить у него нет. Но Параскева надеялась, отмаливая у бога поочередно — то его грех, то свой, то снова его. В конце концов, через несколько месяцев он начал принимать пищу без резиновой трубочки и даже говорить, хотя голос у него стал совсем другим — густым, хриплым, и казался теперь Параскеве чужим, будто бы из-за гроба. А вот зрение к нему не вернулось. Половинчатый и слепой, он теперь казался всем мертвым. Неподвижно целыми днями сидел он перед окнами и смотрел в свою новообразовавшуюся черноту. Параскева никогда не допытывалась у Ивана, почему он так сделал, почему не стерпел эту боль. Они так и жили — каждый терпел свое и не отдавал другому ни капли.

Она тяжело и прерывисто вздохнула. Снова попыталась вспомнить слова молитвы в том месте, где споткнулась. Но память ее упрямылась. Параскева прислушалась. В глубине дома тикали ходики: сколь-ко-лет, сколь-ко-лет. Сверху по крыше лупил, не переставая, дождь. Она начинала привыкать уже к его дробной поступи. Временами ей даже казалось, что она будто бы едет в поезде и никак с него не сойдет. Хотя Параскева никогда не уезжала дальше своей деревни.

Она перевела взгляд с фотографии на самого мужа. Он лежал, обострившийся, бледный, совсем не похожий уже на себя. Его

лунные волосы, аккуратно расчесанные гребешком от пробора направо и налево, казались ей еще влажными, напитанными водой после того, как она его обмыла. Или это потому, что вокруг теперь только вода? Она опустила голову и посмотрела на свои ноги. Темная, тяжелая жижа медленно поднималась и уже колыхалась на животе, под самыми ее не выпитыми грудями, скрыв из виду табурет, на котором она неподвижно сидела. Сколько же еще воде надо было буйствовать, чтобы достать до стола с гробом и до ее собственного лица? Ничего, ничего, успокаивала сама себя Параскева. Это все может быть страшно только живому. А ни она, ни Иван в живых себя больше не числили. Что им станется от этой воды? Она поежилась от впитавшейся в нее влаги. И, чтобы хоть немного отвлечься, обвела взглядом комнату, снова уперлась в лик на стене. И вдруг, сложив плечи, затряслась в накатившем на нее плаче, забилась перед столом, не слыша совсем, как кто-то колотил в двери.

Чье-то плечо с силой надавило на разбухшую от воды, застрявшую в собственном проеме дверь. Та поддалась и тут же впустила новую воду, которой оказалось куда больше, чем до этого скопилось в доме Параскевы. Из дождевой пелены показался — весь мокрый — человек в ярком оранжевом жилете и высоких охотничьих сапогах. Испуганно остановился, высмотрев в полумраке дома перед свежим гробом старуху, сидевшую неподвижно, по пояс в воде. Растерянно постоял. Потом резко обернулся, крикнул в проем двери кому-то снаружи:

— Лодку! Лодку еще давай! Тут еще люди!

Потом посмотрел на вытянувшего в своем гробу деда и чуть тише, как будто уже для себя, добавил:

— Вернее, один человек...

Широко расставив в стороны руки, он сделал пару шагов к столу, раздвинул сапогами воду и снова испуганно посмотрел на неподвижную, будто бы окаменевшую старуху.

— Что ж ты, бабка, етить-колотить, тут удумала? Чего ты сидишь?

Он поперхнулся. Закашлялся.

— Там уже всех с крыш снимали. Думали, нет больше никого! А ты тут расслаиваешься!

Параскева тяжело, через гроб, посмотрела на человека в жилете. Тот устало утер рукавом воду с лица.

— Ты, слышь, бабка, давай, не дури! Мы вот сейчас уедем. И уже — без возврата. Останешься в хате своей помирать. Такого хочешь?

Она не ответила. Человек терпеливо повторил:

— Помрешь ведь тут, дура старая! Или тебе жить совсем надоело?

Человек с усилием сделал еще пару шагов в воде, перевалился всем телом через гроб с мертвым дедом, схватил старуху за руку и изо всей силы потянул.

— Да вставай ты, вставай!

Тяжелая, мутная вода заколыхалась. Параскева выдохнула из себя все, что сумела, напряглась и вдруг вырвалась, оттолкнув от себя человека. Он от неожиданности отшатнулся и ушел в воду по грудь. Но тут же забарахтался, восстановил равновесие, встал на ноги и, рассыпая брызги, бросился снова к упрямой старухе.

— Совсем спятила, старая карга!

Параскева изо всех оставшихся сил вцепилась руками в гроб и легла ничком на Ивана.

В дверном проеме показался еще один человек в оранжевом жилете. И с улицы, через окно дома Параскевы, люди видели, как двое спасателей, переругиваясь и барахтаясь в воде, неуклюже пытались одолеть маленькую, сухонькую старушку в черном тугом платке. Через час, сделав последний контрольный круг по затопленной деревне и убедившись, что там живых больше нет, спасатели увезли людей.

К вечеру субботы дождь неожиданно иссяк. Выдохся, как утихнувшие рыдания. И над гладью воды, где то тут, то там торчали притопленные по самые окна дома, заваленные набок сараи и облезлая луковка давно заброшенной церкви, воцарилось вселенское молчание. Птицы, разогнанные непогодой, кружили высоко в небе, пытаясь отыскать свои разрушенные водой гнезда. Но никак не могли. Зацепившаяся за угол крыши, черная, с большим белым пятном корова колыхалась безвольно в почерневшей воде. Больше не было никого. В медленно густеющих сумерках гладь воды начинала наливать закатной кровью. Потом потемнела. И крыши домов-утопленников медленно, словно в пучину океана, погрузились в ночную темноту. И вот уже было не разобрать ни деревни,

ни поля, ни дороги, ведущей на станцию. Тут и там торчали куцые верхушки вымокших тополей, упрямо обозначая, что еще неделю назад тут была земля, все-таки земля, но теперь вода ее победила.

На краю затопленной деревни заплясал вдруг неровный огонек. Двинулся со стороны леса и стал приближаться к домам. Поравнявшись с крышей окраинного дома, остановился. Рядом зажегся еще один. И в их искусственном желтом свете обозначились два человеческих силуэта в непромокаемых хрустких плащах. Сидя в надувной туристической лодке, они неумело гребли маленьким спортивным веслом, перекидывая его то вправо, то влево. Поэтому лодка плыла рывками, заставляя огоньки хаотично плясать в темноте.

Возле окраинного дома люди остановились, сделали несколько кругов, пытаясь отыскать вход внутрь. Но им не везло. Видимо, дверь ушла под воду. Тогда один ухватился за край крыши, подтянулся на руках и вскарабкался на дом. Второй остался ждать в лодке. Первый разбил крошечное окно мезонина, влез в него. И было слышно, как внутри дома то тут, то там плещет встревоженная вода. Второй, замучившись ожиданием, не выдержал и стал звать, тыкая фонариком через окно дома.

— Ну, скоро ты там уже?

Ответа не было. Второй зачерпнул воду веслом. Лодка стронулась с места и, покачиваясь, послушно двинулась вперед.

— Колян, блин, ну ты где?

Второй нервно засмеялся, но тут же стих и напряженно прислушался.

— Приколоться решил надо мной, да?

Он снова посветил фонариком в дом. И вдруг совсем с другой стороны вырвался, отделился от дома первый и, борясь с доходящей ему до груди водой, поднял вверх руку и чем-то призывно замахал. Второй высветил его фонариком.

— Ну ты чмо, в натуре! Клад что ли там нашел?

Первый радостно добрел через воду к лодке и положил на ее дно тяжелый, окаменевший от влаги лик.

— Скажешь мне, клад... Лучше. Лучше!

Оба склонились над иконой. Она казалась очень ветхой, но от света фонариков оклад засверкал. Второй кивнул, очень довольный.

— И что думаешь? Золотая?

Первый шмыгнул замерзшим носом и пожал плечами.

— Золотая, не золотая, но что старинная — факт. Такую с руками оторвут.

— А еще что-то было?

Первый замотал мокрой головой.

— Да не поймешь. Там все под воду ушло.

Он подтянулся и довольно легко забрался обратно в лодку.

— Давай еще вон к тому дому! Он повыше стоит.

И показал на дом Параскевы. Второй кивнул, и они поплыли. Обогнули дом. Он казался старым, старше других, но добротный, бревенчатый, построенный так, что вход в него был значительно ниже окон, и потому совсем ушел под воду. Зато окна не затопило. И теперь они улыбались своими наличниками. Двое подплыли к окну, посветили фонариками.

— Тут вообще не пролезешь! Только через окно.

— Ну и что? Стекло только выбить!

Первый ткнул в окно фонариком. Стекло звонко хрустнуло. Тогда он просунул руку и, нащупав изнутри окна щеколду, потянул на себя обе рамы. Дерево затрещало, выломалось и, словно глубокий выдох, выпустило из дома воду, скопившуюся внутри, вместе с которой стало вытягивать изнутри мелкий скарб, табуретки, обломок доски.

— Да свети ты, свети! — коротко командовал первый.

Он ухватился за оконные ставни, чтобы пролезть в окно, решительно подтянулся. И тут из темноты, из самого чрева дома, колыхаясь на потревоженной воде, через выломанные рамы протиснулось что-то деревянное, большое и неторопливо двинулось в сторону лодки.

Первый испуганно закричал, метнулся обратно и яростно стал выгребать перед собой воду. Попытался схватиться за борт лодки, но от паники его рука все соскальзывала. Второй напряженно привстал и направил фонарик вперед, высветив то, что двигалось прямо на них. Свет уперся в какое-то лицо. Оно было не нарисованное, а настоящее, человеческое, но почему-то неподвижное и с закрытыми глазами. Второй сорвался, запричитал:

— Колян, б.., да это же гроб. Гроб, мать его! Там же жмурик!

Первый, захлебываясь, начал еще яростнее хвататься за лодку. Но только тянул ее вниз. Второй, выбросив обе руки вперед, стал отталкивать его голову, боясь, что тот потопит и лодку, и их двоих.

Одновременно он лупил веслом по гробу, чтобы не плыл за ними, только чтобы не плыл.

— Откуда тут жмурик, дурак? — Первый старался справиться с накрывшим его ужасом.

— Да ты сам, сам посмотри! — злился второй и все сильнее отталкивал от себя голову первого.

Поднявшись в лодке во весь рост, он направил свет фонарика прямо в гроб. Неподвижное лицо осветилось желтым. И ему показалось, что лицо это никакое не мертвое, а уставилось прямо на него — сурово, почти грозно. Он закричал, покачнулся, потерял равновесие и с размаху ухнул в глубокую, черную воду. Выскользнувший из рук фонарик кувыркнулся в воздухе и, негромко булькнув, быстро пошел на дно.

К утру воскресения вода начала медленно уходить. Люди еще не знали об этом чуде и, расквартированные наспех в районе, продолжали оплакивать свои брошенные дома. А из-под воды уже видны были и мелкие деревья, и верхушки заборов, и колодезный журавель. Еще немного, и, казалось, земля, очищенная, обмытая, напитавшаяся водой и готовая к новым травмам, обретет прежний покой, отвоеванный ею у стихии.

Вода уходила. Приходила новая жизнь. Уже видны были столбы фонарей, обозначающие границы единственной на деревню улицы. И через эту улицу, медленно покачиваясь на воде, плыл в своем деревянном гробу — не упокоенный, не зарытый — дед Иван, седой, половинчатый, будто бы мертвый, а будто бы и нет. И как же тут будешь мертвым, как отлежишься на бугре, когда ты остался последним на всю свою брошенную деревню, один-одинешенек, сторож, страж. И вот так плыл старик в сторону дороги, что ведет от деревни на станцию поездов, той дороги, которая увела его когда-то из дома и вернула домой, чтобы больше никуда и никогда не уходить, не покидать больше свое, родное.

